2.4.96.

Вч. клуб. -1996.- 2апр.- С.7.

Лиснянская Инна.

И крона поет возле самого крова,
И птица — как будто бы навесела,
Но будит меня лишь энергия слова
И жить оставляет на этой земле, —

сказала о себе в одном из стихотворений Инна Лиснянская. Паузы в издании ее книг затягивались на родине — "Верность" (1958), "Не просто любовь" (1962), "Из первых уст" (1966), "Виноградный свет" (1978), "Ступени" (1990), "Стихотворения" (1991). Два поэтических сборника вышли за границей — "Дожди и зеркала" ("ИМКА-пресс", 1983) и "На опушке сна" ("Ардис", 1984).

Она родилась в Баку в 1928 году. Участвовала в альманахе "Метрополь". После исключения из СП Евгения Попова и Виктора Ерофеева в знак протеста вместе с Василием Аксеновым, Семеном Липкиным добровольно вышла из Союза писателей...

Инна ЛИСНЯНСКАЯ:

Интеллигенция для власти всегда была сорняком

— Инна Львовна, вероятно, "метропольский" период вызывает у вас не только горестные воспоминания?

— Время, связанное с "Метрополем", кажется мне не только трудным, но и прекрасным. Я была насильно освобождена от поденной работы — ведь зарабатывала переводами, от бесконечных, связанных с ними телефонных переговоров с редакторами. Но говорить об истории, связанной с альманахом, отказываюсь. Тому две причины. Во-первых, писатель не должен наживать себе имя за счет судьбы. Это не то чтобы несправедливо, но и неблагодатно. Особенно для меня. Я никогда не уверена в своем даровании, очень сдержанно думаю о своих поэтических возможностях. И, рассказывая о том, как нас (муж Лиснянской — поэт Семен Израилевич Липкин. — **Е.К.**) довольно сильно притесняли, подходили на улицах в укромных местах с ножами, вторгались в наше отсутствие в дом и переворачивали все вверх дном, я тем самым зарабатывала бы себе некий капитал. Даже вовсе не из-за страха, а только по этим соображениям я не дала ни одного интервью за рубеж во время "Метрополя".

— А почему вы, как вам предлагали, не уехали?

— Выход из Союза писателей Липкина и меня власти предержащие объясняли себе и другим, главным образом писателям, якобы нашим стремлением покинуть Россию. Им надо было показать, что нами двигала вовсе не совесть, а корысть. Мы с Семеном Израилевичем этой радости не пожелали им доставить и выезжать за пределы России не думали. Они же хотели быть уверенными в нашей корысти. Поэтому первые полтора года (до середины 1981-го) оставляли нас в покое...

— Какое же второе основание вашему молчанию?

— С самого начала перестройки, которую я назвала "перелицовкой", я так же отказывалась говорить печатно о трудностях своей судьбы. Я увидела, что те, кто прекрасно, благополучно жил-поживал, жаловались на то, что им было тяжко, туго, несладко...

— Вы ведь имеете в виду конкретные фамилии?

— Всех имен не перечислить. Более того, тогда гонители провозгласили себя гонимыми, коммунисты — демократами. А нынче пошла новая перелицовка. Оборотни. И я ни в коем случае не хочу находиться в их числе. Но это уже тема, далекая от нашей беседы... Словом, я все же с Божьей помощью как пыталась, так и пытаюсь сохранить собственное лицо.

— Лед вокруг вашего имени растаял, книги выходят одна за другой: "После всего" ("Пушкинский фонд", 1994), "Одинокий дар" ("Третья волна", 1995), "Шкатулка с тройным дном" ("Луч-I", 1995) — о поэзии, а также творческих и человеческих взаимоотношениях Цветаевой и Ахматовой. Вы по-прежнему продолжаете писать стихи, и даже сегодня вас интересует чисто литературоведческая работа. Неужели не печалит то, что творится вокруг?

— Как же не печалит? Очень даже печалит. Но спасение вижу только в одном — работе, труде каждого человека. Бог терпел и нам велел. В это ужасное время надо не позволить сломаться душе. Укрепить дух созидательным терпением. Иначе о каком возрождении России может идти речь?

Я не умею сопротивляться активно и боюсь каких бы то ни было революций, переворотов. Вообще опасаюсь слишком активных людей. Смысл моей жизни всегда состоял в твердом, хотя и пассивном сопротивлении злу.

— Жизнь и поэзия одно — кажется, это замечание Жуковского. Вы готовы ему возразить?

— Да, я с ним не согласна. Я делю поэтов на два типа. Первый — поэт адекватен себе, про него действительно можно сказать: "Жизнь и поэзия одно". Ко второму типу принадлежит "поэзия восполнения", то есть какие-то свои недостатки поэт компенсирует в творчестве (допустим, в жизни скупой, в стихах оказывается щедрым — вовсе не значит, что поэт лжет, это и есть восполнение). Остерегаюсь оценки: какой тип лучше или хуже. Оба — естественны. И тех, и других поэтов я встречала и в истории литературы, и в жизни.

— А как сказанное соотносится с вашим творчеством?

— Повторю строки Ахматовой:

И в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас...

Нынче литераторы разошлись кто куда. Довольно распространена тенденция отрицания. Но, скажем, те, кто выступает против Солженицына, выискивая в нем какие-либо недостатки, похоже, совершенно забыли о том, как когда-то сами настраивали свой радиоприемники на Би-би-си и ловили каждое его слово... А совсем молодые сочинители проявляют агрессивность уже и в отношении к поэзии Бродского и Кублановского. Считаю, что это дело не благодатное, губительное для отрицающего и хулящего. Конечно, бывают принципиальные различия, существенные претензии у того или иного поэта к собрату по перу. Но еще никогда и никто за счет поношения другого не обретал своего места под солнцем.

— Иными словами, вы повторили то, о чем уже однажды сказали в стихотворении:

Родится гений,
Чтоб ничтожного возвысить,
Ничтожный, чтобы гения попрать.

— Да, приблизительно так. Поэт, думаю, всегда щедр. Вы меня поневоле отсылаете к себе самой. Больше всех людей на свете я люблю поэтов. Я бы сказала, почти без взаимности с их стороны. Особенно радуюсь поэтам иных художественных направлений. Видимо, потому, что знаю: никогда мне и не мыслить, и не чувствовать, а, значит, и не написать так, как они. Хотя самим ремеслом владею.

— При вашей легкости версификации часто ли вы пишете?

— Нет, что-то должно быть еще — самой мне не ясная тайна, должно произойти какое-то событие внутри меня. Иногда даже кажется — заболеваю. И тягостно, и знобит, и словно необходимо от чего-то освободиться. А оказывается, это начинают писаться стихи. Вдруг. Непонятно, как они возникают. Чаще всего со строки. Когда-то Натан Эйдельман спросил меня о нескольких стихотворениях конкретно: как, почему, при каких обстоятельствах они были написаны. И я действительно объяснила ему: какое продиктовалось сразу, над каким работала, почему и из чего оно появилось. Кстати, слова Анны Андреевны: "Когда б вы знали, из какого сора//Растут стихи, не ведая стыда", — это, знаете ли, не простые строки. Их буквально понимают. Да, стихи растут из прозы жизни. Но, мне кажется, Ахматова применила тут и эзопов язык. Что есть сор? Желтый одуванчик у забора, лопухи, лебеда — то есть сорняк, что выпалывается в хлебном поле, здесь, по мне, трагическая аллегория. Сорняк — то, что на протяжении всей эпохи выпалывалось властью на поле российской словесности. В первую очередь русская интеллигенция, которую то и дело сравнивали с сорняком, плесенью. Такое прочтение подтверждает и следующая — за уже приведенными — строка: "Сердитый окрик, дегтя запах свежий" — вдруг, после перечисления одуванчика, лопухов, лебеды. Это и есть, как мне думается, второй пласт стихотворения — картина реального времени. И речь об этом в моей "Шкатулке с тройным дном". В этой же книге я пытаюсь доказать, что "Когда б вы знали, из какого сора// Растут стихи..." есть ответ на строку Цветаевой: "Стихи растут, как звезды и как розы".

— На первой же странице "Шкатулки..." вы говорите: "...путь поэта, выражающего роковую минуту, то есть свою эпоху, — всегда Исход из рабства в свободу обетованную и одновременно жертвенно-мученическая дорога на Голгофу, даже в тех редких случаях, когда поэта не распинают. Так по крайней мере думается мне, в данной книге всего только набожной читательнице поэзии". Не лукавите, называя себя так?

— Нет, перед лицом великой русской поэзии я всего лишь читатель, пишущий стихи. О себе в самом деле думаю более чем скромно. Одновременно это, видимо, и гордыня. У меня высокая точка отсчета. Говоря, что мало что значу, я имею в виду отнюдь не сегодняшний сиюминутный стихотворный поток. Русская поэзия так богата, что мне всегда казалось: вряд ли могу что-либо добавить в эту сокровищницу... Вот жил в пушкинскую пору слепой поэт Иван Козлов. Его стихи пользовались колоссальным успехом, переписывались девушками в альбомы. Но что нам известно из его поэзии сейчас? Пожалуй, лишь единственный перевод — "Вечерний звон". И это, слава Богу, большая удача.

— Кто заботился о вашем таланте?

— Прямых учителей у меня не было. Во-первых, я их чуралась. Во-вторых... Скажем, мне представлялся случай познакомиться с Ахматовой, но я не решилась — в то время уже всеми признанную, царственную Ахматову окружало много поклонников, почитателей. Если бы эта же возможность пришла многими годами раньше, тогда, когда, почти всеми оставленная, она жила в нищете, — я, конечно, постаралась бы быть рядом, быть полезной... Кроме того, считаю, что такой поэт, как Ахматова, сам должен выбирать себе знакомых. Например, мне известно, что Липкин в юности не набивался на знакомство с Мандельштамом, которого обожал. Это сам Мандельштам, прочтя его стихи, пригласил Семена Израилевича к себе открыткой.

Однако первым поэтом, которого я прочла, был Есенин. И он оказал на меня самое сильное влияние. К сожалению, я унаследовала не самое лучшее. Я даю часто первую реальность в стихах. Впрочем, не бояться этого научил меня тот же Есенин — обнаженный и поющий нерв русского народа.

— А Литературный институт?

— Мне казалось, что студенты чрезвычайно умные люди, особенно те из них, кто в очках, и я ни за что не смогу сдать вступительные экзамены. И когда из Москвы пришло приглашение в Литературный институт — друзья посылали туда мои стихи, — не сразу поняла, что еще предстоят экзамены... Это был 1947 год. Как ни уговаривал меня Николай Тихонов, упорно сопротивлялась: "Нет, экзамены сдать не смогу! Никогда! Провалюсь! По всем предметам!" В общем, как мне ни намекали, что главное — пройти конкурс по стихам, остальное как бы формальность, я, на удивление всем, забрала документы. А куда податься? Никого в Москве нет. Кошелек пуст. Хожу заплаканная. Вдруг — объявление: "Люберецкий машиностроительный техникум набирает студентов, имеющих 10-классное образование, в особую группу". И приписка: "Без экзаменов". Туда и отправилась. И даже какое-то время, пока дело не дошло до практики, училась. Мастер, глянув на мои руки, возмутился: "Ну что за антеллэгэнтные руки! Не пушшу — покалечится!" Он был умницей! У меня действительно оказались бестолковые руки. В общем, и техникум я бросила.

— И вернулись в родной Баку?

— Да, а потом туда приехал Антокольский. Спрашивает: "Ну что же вы не учитесь?" — "Боюсь экзаменов". Благодаря Павлу Григорьевичу меня приняли без экзаменов на вечернее отделение университета. Но скоро поняла, что и там мне делать нечего. Уровень образования студентов оказался таким, что учиться было неинтересно. Допустим, лектор говорит: "Рассказы О'Генри отличаются тем-то и тем-то". Меня тычут в спину: "О ком, о ком?" Так я осталась без высшего образования. А в Москву окончательно переехала в 1961 году. Печатать же мои стихи в столице стали с 1957 года, чаще — в "Новом мире" Твардовского.

— Круг вашего нынешнего общения, очевидно, узок?

— Очень узок, ограничен, но прочен. У Семена Израилевича одни знакомые, у меня — другие. Но есть и общие друзья. Кто? Знаем, что в трудную минуту можем обратиться к Юрию Кублановскому. Давняя дружба с Олегом Чухонцевым. Дружим и с замечательным молодым поэтом Эллой Крыловой. Читателям еще предстоит запомнить это несомненное имя. Элла Крылова — мое счастливое приобретение. Ибо у нас такой возраст — возраст потерь. И многие уже ушли из нашей жизни. Совсем недавно похоронили Лидию Корнеевну Чуковскую.

— Вам досаждают начинающие стихотворцы?

— Не то чтобы досаждают, но приходят. А я не умею отказывать в просьбе. И хорошо. Некоторые радуют своими стихами.

— Обратимся вновь к вашим строкам: "Я одиночествую, и судьбой довольна./ / Сверчи, сверчок, и доучи навечно// По отношению к дороге жить продольно,// По отношению к идущим — поперечно". А живете вы сегодняшним днем?

— Если жить сейчас будущим — надо просто собрать вещи и пойти на лечение в сумасшедший дом... Но сегодняшний день важен... Думаю, главное, что держит человека в жизни, — вера в Бога. Видите, у меня лампадка, иконка. Встав утром, говорю: "Слава Богу! День настал". Вечером, перед сном: "Слава тебе, Господи, день прошел!" Безусловно, в этом прошедшем дне я вижу много горя и молю Бога только о том, чтобы не случилось то, что может случиться...

Вера очень поддерживает человека... Вот Семен Израилевич, в этом году ему исполнится 85 лет, был на фронте. Пули летят, а он верует: коль суждено погибнуть, так тому и быть. Обстрел, все в землянку бегут, а он, и не такой уж смельчак, стоит и курит. И вдруг именно эта землянка взрывается. Смерть мимо него пролетела. Но себя я не считаю абсолютно верующим человеком. Мне кажется, что моя вера есть только путь к Богу. Допустим, если меня ударят по правой щеке, я могу подставить левую. И подставляла. Могу простить врага. Но возлюбить его — нет! Я не в состоянии исполнить этот Христов завет. Значит, это изъян моей души, моей веры. На исходе жизни я еще в пути.

Молись, золотое сердце.
Крепись, железное сердце.
А каменное — смягчись.
Забудь, птицелов, ловитву,
Забудь, генерал, про битву,
И враг врагу улыбнись!
Иначе уже не выжить
И даже слезы не выжать
Из осоловелых глаз.
Крепись, железное сердце,
Молись, золотое сердце,
Тому, Кто оставил нас.

Встречалась
Елена КОНСТАНТИНОВА.

На снимке: по жизни — вместе. Инна Лиснянская и Семен Липкин. Март 1996 г.
Фото Виктора СМОЛЬЯНИНОВА.

268